



**Д. И. ПИСАРЕВ**

## **Популяризаторы отрицательных доктрин**

### **<отрывок>**

<... В половине XVIII века стояла на очереди важная задача. Надо было повернуть против феодального государства то отрицание, которое в первой половине столетия действовало исключительно против клерикальной партии. Надо было громко объявить людям, что пора перейти от смелых мыслей к смелым делам. Эту задачу решил Руссо. Слово его было достаточно громко и увлекательно. Люди встрепенулись, и перед ними открылась перспектива новой жизни. А между тем нельзя не пожалеть о том, что решение этой капитальной задачи досталось именно Жан-Жаку Руссо. Нельзя не сказать, что Европа осталась бы в больших барышах, если бы Руссо умер в цвете лет, не напечатавши ни одной строки. Руссо решил задачу, но на свое решение он положил грязные следы своей бабьей, плаксивой, взбалмошной, расплывающейся, мелочной и в то же время фальшивой, двоедушной и фарисейской личности. У Руссо был тот талант, был тот ум, были те страсти, которые были необходимы для решения задачи. Но, кроме того, у Руссо было многое множество болезней, слабостей, пошлостей и гнусностей, без которых основатель французской социальной науки мог бы обойтись с величайшим удобством для самого себя и с огромною пользою для своего дела. Так, например, Руссо не было ни малейшей необходимости страдать расстройством мочевого пузыря и хроническою бессонницею. Дело всеобщей перестройки, очевидно, выиграло бы, если бы ее первым мастером был человек совершенно здоровый, крепкий, веселый, деятельный и неутомимый.

Читатели мои ужасаются или смеются. Можно ли в самом деле толковать о мочевом пузыре, когда рассматривается решение великой исторической задачи? Что общего имеет мочевой пузырь Руссо с идеями «Эмиля» и «Общественного договора»? — К сожалению, эти вещи имеют между собою гораздо больше точек соприкосновения, чем вы предполагаете, господа идеалисты. Я докажу вам это словами самого Руссо. В 1752 году была дана с большим успехом на придворном театре комическая опера Руссо «Деревенский гадатель»<sup>1</sup>. Король, которому очень понравилась музыка, выразил желание, чтобы Руссо был ему представлен. Теперь выступает на сцену мочевой пузырь. «Вслед за мыслью о представлении, — говорит Руссо в своих «Признаниях» (которые г. Устрялов напрасно назвал в русском переводе «Исповедью»)<sup>2</sup>, — я задумался над необходимостью часто выходить из комнаты вследствие моей болезни, что заставило меня много страдать в вечер, проведенный в театре, и что могло мучить меня и на следующий день, когда мне предстояло быть в галерее или в комнатах короля, среди всех вельмож, ожидающих появления его величества. Эта болезнь была главной причиной, по которой я держал себя в стороне от собраний и которая не позволяла мне ходить в гости к женщинам. Одна мысль о том положении, в которое могла поставить меня эта потребность, была способна усилить ее до такой степени, что мне сделалось бы дурно или дело не обошлось бы без скандала, которому я предпочел бы смерть. Только люди, знакомые с таким состоянием, могут понять, как страшно подвергать себя такой опасности»<sup>3</sup>. Сам Руссо, как видите, признается, что болезнь была главною *причиною*, удалявшую его от людей. Надо заметить, что эта болезнь была у него врожденной. Значит, он с самого детства чувствовал в обществе постоянное беспокойство. Эта совершенно определенная боязнь должна была, наконец, породить в нем общую неразвязность и застенчивость; эти особенности вызывали шутки и насмешки товарищней; от этих шуток и насмешек робость должна была увеличиваться, и к ней должна была присоединяться злобная недоверчивость к людям и, как подкладка этой недоверчивости, тоскливо- сентиментальное стремление к каким-то лучшим людям, сладким, чувствительным, нежным и слезливым. Все «Признания» Руссо составляют одну длиннейшую и скучнейшую жалобу на то, что люди не умеют его понимать, не умеют любить, стараются всячески избегать, составляют против него заговоры и причиняют его прекрасной душе такие

страдания, которые им, простым и грубым людям, даже совершенно недоступны. И Руссо напрягает все свои силы, чтобы наплевать на людей и удалиться в пустынью, на лоно природы, которая никому не мешает *часто выходить из комнаты*. Но Руссо так мелочен, что он никак не может действительно наплевать на людей; его тревожит каждая светская сплетня, как бы она ни была невинна или глупа; в каждом слове и в каждом взгляде он отыскивает себе оскорбление; на каждом шагу он, отшельник и мудрец, вламывается в амбицию, лезет объясняться, выказывает свое достоинство, визжит, плачет, кидается в объятия и вообще надоедает всем своим знакомым до такой степени, что все действительно начинают тяготиться его присутствием. Руссо ненавидит то общество, в котором он живет, но в этой ненависти нет ничего высокого и прекрасного. Он ненавидит в нем не те крупные препятствия, которые парализуют полезную деятельность; он ненавидит только какие-то мелкие несовершенства отдельных личностей: бесчувственность злодея Дидро, суровость негодяя Гольбаха, высокомерие изверга Гримма, неискренность мерзавки д'Эпине<sup>4</sup>. В «Признаниях» радикала Руссо вы не найдете ни одной сильной и глубоко прочувствованной политической ноты, но зато найдете груды замысловатых соображений о коварных происках Дидро и Гольбаха против репутации кроткого и добродетельного Жан-Жака.

Политическая дряблость радикала Руссо была так велика, что он по какому-то ничтожному личному поводу напал печатно на Дидро и объявил публике о своем разрыве с ним в то самое время, когда Дидро как редактор «Энциклопедии» нес на себе всю тяжесть правительственныех и клерикальных преследований. Сен-Ламбер, которому Руссо по старой дружбе послал свою ядовитую брошюру, отвечал ему убийственным письмом, которого не дай бог никому получить от старого друга. «Поистине, милостивый государь, — пишет Сен-Ламбер, — я не могу принять вашего подарка. При чтении того места вашего предисловия, где вы по поводу Дидро приводите выписку из “Екклезиаста”, книга выпала у меня из рук... Вам небезызвестны преследования, которые он терпит, а вы примешиваете голос старого друга к крикам зависти. Не могу скрыть от вас, милостивый государь, как возмущает меня подобная жестокость... Милостивый государь, мы слишком расходимся в наших принципах, чтобы иметь возможность сойтись когда-нибудь. Забудьте мое существование; это не должно быть для вас трудно... Я же, милостивый государь,

обещаю вам забыть вашу особу и помнить только ваши таланты». И Руссо самодовольно выписывает это письмо в своих «Признаниях», считая себя и в этом случае жертвою человеческой испорченности<sup>5</sup>.

Болезнь Руссо развивала в нем любовь к уединению, а уединение развивало мечтательность. Руссо сам рассказывает, каким образом он в лесах Монморанси окружал себя идеальными существами и проливал сладостные слезы над великими добродетелями Юлии и Сен-Пре, героев «Новой Элоизы». Болезнь внушала Руссо отвращение к деятельной и тревожной жизни: в то время, когда все кругом Руссо кипело ожесточеною борьбою, сам Руссо мечтал только о том, как бы найти себе где-нибудь спокойный уголок и устроить вокруг себя любезную идиллию. Так как борьба, требующая постоянных и разнообразных столкновений с людьми, была решительно не по силам больному мечтателю, то он и не мог никогда пристраститься к такой цели, которая может быть достигнута только путем упорной и продолжительной борьбы. У Руссо, у этого кумира якобинцев, не было в жизни никакой определенной цели. Он вовсе не желал ввести в сознание общества те или другие идеи. Если бы у него было это желание, то он, подобно Вольтеру, писал бы до последнего вздоха и устраивал бы всю свою жизнь так, как того требовали удобства писания и печатания. Но этого не было. Он бросил литературную деятельность, как только получил возможность жить потихоньку на заработанные деньги. Выбирая себе местожительства, он обращает внимание только на красоту окружающей природы, а совсем не на ту степень свободы, которую пользуется в данной стране печатное слово. Не угодно ли вам полюбоваться на идеал счастливой жизни, нарисованной рукою самого Руссо. «Лета романнических планов прошли, — говорит он в «Признаниях», — дым пустого тщеславия скорее отуманивал меня, чем льстил мне, мне оставалась одна последняя надежда — жить без принуждения, в вечной праздности. Это жизнь блаженных на том свете, и я отныне полагал в ней мое высочайшее счастье в этом мире»... «Праздность, которую я люблю, — поясняет он далее, — не есть праздность ленивца, который, сложа руки, остается в совершенном бездействии, ни о чем не думая, ничего не делая. Это — праздность ребенка, находящегося беспрестанно в движении и все-таки ничего не делающего, и праздность болтуна, который мелет всякий вздор, между тем как руки его остаются в покое. Я люблю заниматься пустяками, начинать сто вещей и не кончать ни одной, ходить куда

вздумается, каждую минуту переменять планы, следить за мухою во всех ее приемах, желать сдвинуть скалу, чтобы посмотреть, что под нею, с жаром принять работу, которой хватит на десять лет, и бросить ее через десять минут, целый день предаваться безделью без порядка и без последовательности и во всем подчиняться только минутному капризу<sup>6</sup>.

Вряд ли можно найти другого знаменитого человека, который с таким искренним самодовольством любовался бы публично своею собственною дрянностью и тряпичностью. Вы видите из его слов, что когда он писал «Эмиля» и «Общественный договор», тогда он только *отуманивал себя дымом пустого тщеславия*. Теперь дым рассеялся, и Руссо понял, что *вечная праздность ребенка* составляет его настоящее призвание. Не умея быть героем и бойцом, Руссо не умеет также ценить и понимать бойцов и героев. Сила, энергия, смелость, настойчивость, эластичность, изворотливость, неутомимость — все эти качества, драгоценные с точки зрения бойца, в глазах Руссо не имеют никакого значения. Он дорожит только красивыми чувствами, трогательными излияниями, чистотою целомудренного сердца, кротостью голубиного нрава, способностью созерцать, благоговеть, ныть и обливаться теплыми слезами восторга. Он влюблен в какую-то добродетель и желает, чтобы все люди были по возможности добродетельны. Но при этом он самого себя считает за очень добродетельного человека и даже умиляется до слез над красотами своей души. Это обстоятельство ясно показывает читателю, что возлюбленная добродетель Руссо заключается именно *только* в тонкости прекрасных чувств, потому что эта добродетель не помешала ему отдать пять человек своих собственных детей в воспитательный дом и вообще не заставила его сделать ни одного сколько-нибудь замечательного поступка, ничего такого, что можно было бы хоть издали сравнить с великими подвигами человеколюбия, сделанными злым насмешником Вольтером, который никогда не толковал печатно о добродетели.

Итак, идеал Руссо был совершенно ложен; та мерка которою он измерял достоинства людей, никуда не годится. Этот ложный идеал и эта негодная мерка, обязанные своим происхождением болезненному состоянию автора, бросают совершенно фальшивый колорит на самые замечательные произведения Руссо, на «Эмиля» и на «Общественный договор». В лице своего идеального воспитанника Эмиля Руссо формирует не гражданина, не мыслителя, не героя той великой борьбы, которая должна перестроить и обновить общество, а только

здорового и невинного ребенка, который сумеет до конца своей жизни уберечь от козней общества свою невинность и свое здоровье. Руссо боится до крайности, чтобы его Эмиль не провел ночи в объятиях камелии; но он нисколько не боится того, что вся жизнь Эмиля может пройти бесследно, в сонной идиллической беспечности, которая к тридцатилетнему возрасту превратит Эмиля в Афанасия Иваныча<sup>7</sup>.

В своем «Общественном договоре» Руссо считает необходимым, чтобы законодатель и правительство делали граждан добродетельными. Это стремление кладет в идеальное государство Руссо зерно злейшего клерикального деспотизма. Руссо думает, что людей надо искусственным образом приучать к добродетели. Это — огромная ошибка. Каждый здоровый человек добр и честен до тех пор, пока все его естественные потребности удовлетворяются достаточным образом. Когда же органические потребности остаются неудовлетворенными, тогда в человеке пробуждается животный инстинкт самосохранения, который всегда бывает и всегда должен быть сильнее всех привитых нравственных соображений. Против этого инстинкта не устоят никакие добродетельные внушения. Поэтому государству незачем и тратить силы и время на подобные внушения, которые в одних случаях не нужны, а в других бессильны. Государство исполняет свою задачу совершенно удовлетворительно, когда оно заботится только о том, чтобы граждане были здоровы, сыты и свободны, то есть чтобы они на всем протяжении страны дышали чистым воздухом, чтобы они раньше времени не вступали в брак, чтобы все они имели полную возможность работать и потреблять в достаточном количестве продукты своего труда и чтобы, наконец, все они могли приобретать положительные знания, которые избавляли бы их от разорительных мистификаций всевозможных шарлатанов и кудесников. Если же государство не ограничивается этими заботами, если оно врывается в область убеждений и нравственных понятий, если оно старается навязать гражданам возвышенные чувства и похвальные стремления, то оно притупляет граждан, превращая их или в послушных ребят, или в бессовестных лицемеров. Официальные хлопоты о добродетелях открывают широкую дорогу религиозным преследованиям. Это мы видим уже в теоретическом трактате Руссо. Четвертая книга «Общественного договора» говорит, что в государстве должна существовать религия, обязательная для всех граждан. Кто не признает государственной религии, того следует выгонять из государства не как безбожника, а как

нарушителя закона. Кто признал эту религию и, однако же, действует против нее, тот подвергается смертной казни, как человек, соглавший перед законом. Этими двумя принципами можно оправдать и узаконить все что угодно: и драгоннады, и инквизицию, и изгнание мавров из Испании, и вообще всевозможные формы религиозных преследований. И герцог Альба, и Торквемада, и Летеллье могут прикрыть все свои подвиги тем аргументом, что они наказывают не еретиков, а государственных преступников. Именно этим аргументом и оправдывались в Англии при Елизавете преследования, направленные против католиков<sup>8</sup>. Руководствуясь принципами Руссо, Робеспьер погубил на эшафоте много таких людей, которые были очень полезны Франции, например, Дантоне, Демулене, Шометта, Анахарсиса Клоца. Он обвинял их, правда, в различных заговорах и сношениях с Питтом, но вряд ли даже он сам верил в существование этих заговоров<sup>9</sup>. Настоящею причиною его ненависти к этим людям было то обстоятельство, что все они были скептиками и что вследствие этого Робеспьер, как послушный ученик Руссо, признавал их недостойными жить в добродетельной французской республике. <...

